

Р. фон Фарнхаген

ПИСЬМА

Давиду Фейту, в Гёттинген

Берлин, 1 ноября 1793 года

...**Н**о Вы, безусловно, правы в том, что есть совсем немного людей, с которыми можно говорить об определенных предметах, и немного предметов, которые можно с ними обсуждать. Конечно, мы меняемся, я — совершенно определенно. И если ничего не произойдет, я стану смелее, увереннее, тверже и — так хочет Бог! — даже решительнее, и — так хочет Минерва — суровее по отношению к собственной сентиментальной бесхарактерности, *всегда* готовой *спокойно* встретить низость и подлость окружающих, буду настолько сильной, чтобы в этом кишачем множестве дурного никогда не заставить страдать доброго или доброе! Аминь! Как шекспировский Тимон!¹ Ничего не остается. А если ничего не меняется, то приходится оставаться тем, что ты есть. Все это время меня не покидало любопытство, когда же и как я смогу развлечься. Это случилось вчера. О, как жаль, что я не смогу передать Вам это. Я вкусила от удовольствия, а поделиться с Вами не могу. Вчера я познакомилась с Марчетти², она пела мне, она, *единственная* в своем роде, милейшая женщина. *Каждое* ее движение очаровывает, околдовывает, является безумством, вызывающим смех или плач. К счастью, я помню ее взгляд, хотя вчера я боялась, что забуду его. *А пение* — это воркование, это чувство, сплошное чувство. Это доброта и прелесть. О, это подлинное очарование — настоящее, признанное. Это означает страсть, это означает божественные дары. Это означает музыку, это означает красоту. Если вы это прочувствуете, оно будет для вас благотворным, и вы сможете еще когда-нибудь насладиться, встретив такое же. Я пишу это для себя.

¹ Герой одной из поздних трагедий Шекспира «Тимон Афинский», остро ощущавший свой внутренний разлад со всем окружением.

² Известная певица, посещавшая салон Рахели.

*Давиду Фейту, в Гёттинген
Берлин, 18 ноября 1793 года*

А теперь собираюсь сказать Вам как раз о том, что я хорошо знаю, что пишу неправильно, и ни в малейшей степени не хочу извиняться за это, потому что не чувствую упрека в *Вашем вопросе*. Я могу сколько угодно принимать решения следить за орфографией во время чтения, но почти никогда не выполняю их. А если мне это удастся в самом начале чтения, то тогда я почти не читаю, а лишь смотрю, как написаны слова. Это мне очень быстро надоедает, и я снова начинаю читать. Мне страшно грустно, всякий самый ничтожный человек, выходит, может научиться большему, чем я, это было бы ужасно, если не утешать себя тем, что мне самой не следует приписывать вину дурной стороне моей головы, что она как раз оказывается хорошей, проделывая со мной такое. *Верно* то, что, когда я читаю, я всегда думаю о главном, и для его постижения мне нужно как *можно скорее* использовать все средства, которые я потом забываю. Все, что я слышу и читаю, я объединяю в целое, а если мне, когда я работаю, часто напоминают о вещах, не имеющих никакого к этому отношения, я тут же отмахиваюсь от них и продолжаю схватывать нужное мне, никогда не думая о средствах, имеющихся у меня, которые я знаю наизусть. Поэтому я ничему не учусь и поэтому с большим трудом могу научить чему-то кого-либо. Все мои учителя начинали что-то мне проповедовать с такой точки зрения, которая была чужда моим занятиям. И вот они часами говорят и говорят, а я не вижу в этом никакой связи со мной, но все-таки слушаю, прилагая величайшее усилие, потому что, говоря обо всех этих вещах, они все же высказывают нечто такое, что мне давно хотелось бы знать и что я могу употребить в своем деле. Так было у меня со всеми учителями, и только теперь я понимаю, *что* они мне вообще говорили и *что* я запомнила; точно так же я никогда не могла понять ответов на вопросы, которыми сама никогда не задавалась. А ведь у какого-нибудь учителя наготове дюжина ответов, и все нужно запоминать. Я не считаю, как Вы, что если бы я писала по-французски, то делала бы меньше ошибок.

Мне очень по душе, что Вы теперь прилежны; знания — единственная власть, которую можно *приобрести*, если ее нет. Власть — это сила, а сила — это все. Если в конце концов обнаружится, что все наши размышления растворились в ничто, были исчезнувшим наваждением, то и тогда останутся подлинные, полезные знания, либо ставящие нас над другими, либо указующие нам место за другими. Да и сами по себе они много способствуют тому, чтобы доставлять нам удовольствие.

Я первейший профан в мире, который *при этом* так ценит знания, и не из-за пугливого неведения, как другие, нет, я знаю, что это означает. Мне ничто не может более помочь в мире, и мне приходится так расходовать

себя; я могу найти утешение у небольшого количества людей. Пусть они и напичканы знаниями, но при этом — как же они глупы, многословны и педантичны.

*Давиду Фейту, в Гёттинген
Берлин, 18 февраля 1794 года*

Можно мне Вам кое-что рассказать? Тогда мое письмо опять будет длинным. В эту среду за обедом Теодор устроил детям длинный допрос, так как он действительно обнаружил, что они очень озорничали, а именно: вверху в моей прихожей кто-то намалевал на стене нашу фамилию³. Августа просто сказала со смехом и сразу же: «Это не я», Людвиг точно так же: «Не я». Только Фердинанд стал возражать, он сказал: «У меня нет карандаша», — и на том стоял, отвечая 16—17 раз кряду на все вопросы, которые ему, как на настоящем допросе, задавали попеременно и с намерением запугать. Только то, что он покраснел, выдавало его, но он справился и с этим и все-таки настаивал на своем: «У меня же нет карандаша». В конце концов он почти сознался, и, хотя вся история имела привкус шутки, все-таки его хотели запугать и добиться полного признания. Тогда я сказала: «Ну, он не может сознаться, достаточно того, что он отрицает это». <...>

Было еще много интересного во всей этой истории. Когда он, наконец, действительно сознался, мама сказала: «Не надо отрицать, лучше сказать: "Я это сделал, я не знал, что это плохо, больше этого делать не буду"». На что он совершенно простодушно возразил: «Я сначала хотел посмотреть, пройдет ли так». Вообще Вам следовало бы видеть, как очаровательно он все отрицал. Во время этого допроса я о многом задумалась и, насколько могла, смягчила его. Но все мои усилия доказать его опасность разбились о желание других свести все к пустяку. Ибо такое выяснение вины не понравилось мне, так как мальчик (будучи ребенком) не думал о том, что он делал, а большое *crime*⁴, которое неумолимо надвигалось на него, все больше пугало его, хотя он держался хорошо. Этот ужас и это замешательство всегда оказывают очень дурное воздействие на характер, и поэтому мне было в высшей степени неприятно смотреть на все это, и я приложила все усилия, чтобы превратить этот неосмотрительный допрос в *exercice*⁵ отговорок, дозволенных обществом. Однако меня неправильно поняли, но затем все пошло неплохо. Теодор почувствовал все более или менее правильно. Почему детям нужно решительно запрещать отрицание и отговорки? Ведь в них (да, конечно, к сожалению, но все-таки) есть нужда. Ведь детей воспитывают для житейской суеты, а не для положитель-

³ Рахель в это время гостила у родственников в Бреслау.

⁴ *Crime* (фр.) — преступление (*примеч. пер.*).

⁵ *Exercice* (фр.) — упражнение, тренировка (*примеч. пер.*).

ного, расположенного на Небесах, вознаграждающих простое сердце и незапятнанную совесть. Почему же не стоит учить их лжи, отрицанию вины, отговоркам, являющимся необходимым злом, и показывать им это, как всякую тяжелую работу, которую сам бросаешь, когда она не нужна тебе и стоит побережь свои чистые руки. Вот так следовало бы заботиться о своей совести. Ужасная мораль! У некоторых образованных инквизиторов мое *реноме* по *меньшей мере* давно кипело бы на медленном огне. И это было бы еще не самым страшным наказанием. Здесь это выглядит как сумасбродство и глупость, ибо такое требование кажется невыполнимым. В самом же точном смысле слова — это я чувствую хорошо, как тот, кто это слышит, — надо заставить детей понять такую мораль, не проповедуя ее, не делая необходимой для них, а просто представляя ее как нечто полезное, но не прекрасное. Показать все в верном месте через действие и противодействие — я верю в такую возможность.

Берлин, 19 февраля 1794 года

Ах, о Гомере! Ибо Одиссея мне кажется настолько прекрасной, что я испытываю настоящую *боль*! Как греки говорят о людях, как они излагают все до самой последней мелочи, и говорят обычными словами, а это звучит величественно и благородно. Они воспринимают все, как оно есть, и лишь рассматривают это и рассказывают о нем. Боги делают с людьми все, рок возвышается над богами, одна сила уничтожает другую, а они повествуют, как они страдают. Вы заметили, что Гомер всегда, когда он говорит о воде, так же велик, как Гёте, говорящий о звездах. Его высказывания о звездах Вы, определенно, не так храните в памяти, как я: Орест в «Ифигении», в маленьких стихах «К Лиде» и еще бесконечно повторяющиеся в его лучших, а также и в более второстепенных вещах.

*Давиду Фейту, в Йену.
Берлин, 15 ноября 1794 года*

На этот раз я сажусь писать Вам, а мой лоб покрылся от страха крупными каплями пота, похожими на росу. Все дело в том, что я хочу быть столь искренней, что это просто стыд, и высказать Вам мнение о двух рецензиях, которое может оказаться растянутым, а у меня еще не готовы для этого слова. На прошлой неделе я прочитала знаменитую шиллеровскую рецензию на стихи Маттиссона⁶, которую я бы назвала скорее идеями о поэтическом искусстве (не смейтесь надо мной).

⁶ Фридрих Маттиссон (1761—1831) — немецкий лирик, перешедший от сентиментальных приемов к классицистическим, что вызвало похвалу Шиллера и Виланда, а затем резко отрицательное отношение романтиков.

Я сразу же подумала: «О Лаокоон, о Лессинг!»⁷ Когда Лессинг рассуждал об общих вещах, то он говорил о них определенно и точно (правда, он при этом ужасно сердился!). Когда он писал рецензии, он высказывал порицание, но когда он его высказывал, он приводил основания. У меня нет сейчас под рукой рецензии, и я не могу сослаться на текст, который помнила, когда читала его. Вокруг этой рецензии много шума, говорят, что она очень трудная для понимания. Я же как раз не нашла в ней никаких особо новых идей. Сравнение поэтического искусства с живописью и следующее за этим сравнение пейзажиста и художника, рисующего исторические картины, не стало для меня чем-то особенным, и мне кажется, что оно сотни раз встречалось у Лессинга. *Вот кого* они всеми силами хотят *забыть*, так как его рецензии (ибо многие его произведения, и особенно «Лаокоон», я воспринимаю как рецензии на виды искусства) не были столь сентиментальны, и он не всегда рецензировал, анализировал, отыскивал высокоую человечность гения и доказывал, что гений — это гений. Нет, он занимался произведением искусства, формулировал положения, порицал, приводя основания или воздавая хвалу древнему, устанавливал верные границы и взглядом судии с восторженным одобрением смотрел, как гений достигал их, и давал гениальности спокойно творить.

Не думайте, что я не понимаю, что рецензия нынешнего времени должна быть ИНОЙ, ЧЕМ НАПИСАННАЯ десять или двенадцать лет назад, что рецензии всегда много значили, а те ранние — особенно, и что теперешние хорошие рецензии, как и прежние, сколько бы они ни отличались одна от другой, — проявление одного и того же гения, только по-иному модифицированного. Или что я недостаточно точно понимаю и потому не могу уследить за определенными вещами, с которыми теперь чрезвычайно считаются, и отдают их на полный откуп разуму, и с ними разгуливают в самом серьезном обществе. И никто, глядя на эту сентиментальность, не морщится из сочувствия и сострадания. О нет! Я поняла все, что читала, и эта моя последняя фраза никогда не будет ложью. В том здании, что было так прочно построено когда-то Виландом⁸, уже при его жизни проделывают брешь (ведь *теперь* необходимо столь неистово разрушать все здания, чтобы исследовать их фундамент). «Но новый путь пробить — значит в гнездо ученых ос угодить». Однако теперь, скорее, страдают осы, когда их яростными пинками заставляют бродить вдоль и поперек по старым путям, а людям внушают, что пути-де новые. Не то

⁷ Лессинг всегда оставался для Рахели самым замечательным явлением немецкой литературно-критической мысли.

⁸ По-видимому, Рахель имеет в виду установку Виланда (1733—1813) на сочетание в произведении классицистического и сентиментального, разума и чувства, с целью выражения идеальной гармонии.

чтобы Шиллер хотел этого, этого он, конечно, не хочет. Но почему он не говорит *ясно* и не начинает там, где кончил Лессинг, и почему воспринимает это совсем *по-другому*, как он хочет, по-новому, как это принято теперь; почему он нерешителен, почему отказывается от точности. Правда, он дал дефиницию поэтического искусства⁹, но ведь только одного вида, а поэтом можно быть и во многих других.

В одном месте говорится, как мне помнится, что, конечно, можно представлять себе картину, но тогда нужно и показать в ней нечто, что делает человека человеком, ибо человек рассматривает картину как часть своей собственной ситуации и использует как средство для выражения своих собственных чувств, и на саму картину он благодаря этому накладывает свой собственный отпечаток. Вы читали рецензию и, конечно, понимаете, о чем я говорю: видите, я удержала в памяти только смысл, да и то, скорее, тот, какой сама знала прежде. Было бы страшно жаль, если бы я выражалась не лучше, чем думала. В таком случае механически копируешь или рассказываешь. Ну да все это давно известно, но иногда одно лишь повествование может быть поэтическим, или всего лишь копирование может быть в каком-то произведении самым что ни есть поэтическим. Только все великое делается в нужное время и требует столь же глубоких знаний о человеке, как и выражение чувств и идей в описании какого-то ландшафта. Видите, существуют тысячи ответвлений, по которым он¹⁰ мог бы пройти и, не ограничивая их, подвести под одно правило; вот тогда бы он и смог написать о поэтическом искусстве. Вы можете сказать, что в одной рецензии это сделать невозможно. А разве он писал рецензию? Совсем нет. Он ссылается на несколько стихотворений, в которых выделяет их красивый строй, возникший благодаря описанным в них безжизненным предметам, и хвалит структуру стиха. Послушайте, да если бы этого в них не было, то они бы были просто плохими стихами и не были бы чем-то особенным. Так как он пытался похвалить его¹¹, то меня удивляет, почему он не взял другие стихи из этой подборки, например «Эльфы», или, может быть, какие-то еще, названия которых я забыла. Неужто мне считать новым, когда он заявляет, что, приступая к делу, поэт-де должен быть не слишком субъективным, а больше придерживаться объективного впечатления от предметов, которые вызывают естественные чувства? Ибо необходимо вновь-де напомнить многим немцам — что я говорю, многим? легионам! — что они не должны говорить о *своем* грушевом дереве, о *своей* Шарлотте, наконец, о *своих* мелких непонятных чувствах.

⁹ В 1792—1793 годах появился ряд статей Шиллера по эстетике («О трагическом в искусстве», «Калий, или О красоте» и др.).

¹⁰ Автор рецензии.

¹¹ Автора стихотворений.

Мнение, что поэт, желающий изобразить естественные простые отношения или явления природы, не должен делать этого — не как человек, которому могут прийти более тонкие и сложные мысли, а как человек, который не может найти их в реальном мире (я точно не помню слова Шиллера, кажется, он говорит о практической возможности) и который должен-де возвратиться к простому, словно очищенный чистилищем, — это мнение я тоже считаю скрытым порицанием. Как и всю эту жалкую рецензию вообще. Она представляет всего лишь удобную возможность высказать мысли, которые (в силу их незрелости) неприятно держать при себе и устраивать предварительную проверку самому себе с целью рассмотреть предметы в новых системах. Будь это по-другому, то последнее правило нужно было бы предназначить для людей невоспитанных, о которых заранее решено, что у них нет вкуса, и то, что ко вкусу относится и нравственное чувство, а к нему — проверка разумом наших собственных ощущений, а также то, что этим людям — что еще вернее — нельзя ничего внушить с помощью простой болтовни. И то, что они — что еще более верно — не понимают, того, о чем говорит Шиллер, тем более того, что эта последняя мысль — новая, и может быть применена ко многим другим предметам. *En effigie*¹², если бы я выступила в «Общедоступной литературной газете»¹³ или в прочих подобных местах, если бы не была жалким ничтожеством и если бы кто-либо узнал об этом письме, меня бы презирали как самое бессовестное существо, все приличные люди обоих полов, если бы другие люди, кроме ученых, узнали об этом. Но я прошу и Вас не считать меня безудержной в суждениях и высокомерной, хотя бы до тех пор пока Вы не прочтете мое мнение о второй рецензии, о которой я собираюсь высказаться так же искренно. Ибо в ином случае Вам нужно будет молчать, так как Вы не знали бы, с чем нужно будет его сравнивать. Рецензию о «Садовом календаре» (*Gartenkalender*) я еще не читала, так как г. фон Бринкман¹⁴ принес мне вчера кипу «Литературной газеты»¹⁵, и, хотя я искала всю ночь, я не смогла найти рецензии о «Садовом календаре», зато нашла рецензию г. Гумбольдта о «Вольдемаре»¹⁶, которой меня очень долго пугали, так как раструбили повсюду, что она очень трудная, и я по своей скромности и глупости поверила этому. Ведь ничто так не про-

¹² *En effigie* (фр.) — к примеру (*примеч. пер.*).

¹³ Выходила в Йене с 1785 года под редакцией Гёте.

¹⁴ Карл Густав Бринкман — шведский писатель и дипломат, живший в 1790-е годы в Берлине.

¹⁵ Имеется в виду «Общедоступная литературная газета».

¹⁶ Вышедший в 1779 году эпистолярный роман Фридриха Генриха Якоби, писателя и философа, привлекавшего внимание последующих литературных поколений — от йенских романтиков до Кьеркегора и Ницше; в «Вольдемаре» некоторые современники усматривали подражание «Страданиям молодого Вертера».

воцирует глупости, как скромность, но когда я получила ее в руки, то не могла оторвать от нее глаз. Да, вот был бы позор, если бы я ее не поняла, и кто-нибудь когда-нибудь должен был бы мне ее объяснять. Я должна сознаться, что она была нелегкой, нужно было как следует подумать о вещах, о которых он говорит, чтобы понять их, но именно потому, что не думать о них стыдно, я, как женщина, воспитанная в нравственных правилах, испытывала бы стыд. Думаю, это все, что следует об этом сказать. Женщина действительно находится в жалком положении, когда ей кажется, что ее делят, как добычу (*partage*), — мне не приходит в голову другое слово, когда она даже не знает, почему ей так кажется, что она *может* и что она не *должна мочь*, чтобы не делать так, как это кажется. Она действительно будет в жалком положении, если по крайней мере *быстро не поймет* г. фон Гумбольдта, пусть даже он говорит о таких *вещах*, которые она сама никогда не стала бы обсуждать: она их должна знать или же она относится к тому низкому классу, к какому ее относят многие, и ее можно только пожалеть. И она действительно презренна, как презренны все люди, не умеющие подняться над своим дурным положением. Мне эта рецензия кажется даже легко написанной, мне, которой часто простейшая история кажется трудной, мне, которой никогда не хватает слов, чтобы что-то выразить и которая с трудом понимает других, — из-за своей точности, определенности, желая найти всестороннюю связь между вещами.

Ах, что за люди окружают меня! Послушайте! Я ведь никогда не считала их столь глупыми. Они всегда находили у Гумбольдта¹⁷ выдающийся философский ум, славили и возвышали его за это! Но они отказывали ему в знании человека. Разве он никогда не разговаривал с ними так, как написал эту рецензию? Или они его совершенно не понимали. Иначе им следовало бы сложить к его ногам свое жалкое изумление перед его знанием человека и совершенно забыть о его философском уме. Не потому, что он забыл о нем в этой великолепной рецензии, напротив, в ней он определил, *что* есть знание человека. Это знание он, так сказать, разобрал на части как искусство, обосновал его и, так как оно опирается на мораль и человечность, превратил их в правила, как красоту в искусстве, а эти правила вновь проанализировал и обосновал как красоту и естественный вывод. Говоря коротко, не знает лучшего на свете тот, кто не понимает эту рецензию, ну а тот, кто не восхищается этой рецензией *выше всяческого чувства*, тот не понимает ее. Пусть меня называют самонадеянной или еще какой угодно — но это еще не все, все самое хорошее *еще* впереди. Вы, видимо, думаете, что я возьму назад свое суждение о «Вольдемаре»? Представьте себе, нет! Я собираюсь согласиться и не могу не полагать, что Якоби думал о своей книге так, как рассказал о ней г. фон Гумбольдт. Но я пойду еще дальше и обращу

¹⁷ Речь идет о Вильгельме фон Гумбольдте.

все то, что у рецензента является чрезмерной похвалой, в порицание автору. Ведь роман всегда есть произведение искусства гения, в нем нужно найти все, о чем говорит Гумбольдт, и все, что можно найти в любом описании человеческих ситуаций, если они изображены правдиво и воспринимаются приличными людьми. Г. фон Гумбольдт смог бы написать такую же замечательную рецензию о каждом недурном романе и высказать те же мысли. Но Якоби не должен так думать, когда он пишет, а мне кажется, что это прочитывается в его романе. Я постоянно обнаруживала в нем продолжение какой-то системы, а не исключительные характеры, которые заставляли бы меня искать ее, если бы я начала их исследовать. Мне постоянно казалось, будто он сообщает мне некий план того, как он задумал писать эту книгу, и потому я никогда не могла обнаружить в ней гения. Содержание, знание людей, философия — да, это постоянно присутствует, но во второй части мне и их не доставало. Гений должен схватывать события, происходящие в природе, уметь составить из них целое и среди всего этого дать понять, что он сам об этом думает, уметь обнаружить в этом общие правила или ощущения. Произведение искусства не должно постоянно разьяснять мне, чего оно хочет, оно должно показать мне это. В том и состоит различие между рецензией на произведение и самим произведением, а вот произведение Якоби кажется мне наброском к рецензии г. фон Гумбольдта, хотя оно должно быть текстом. Якоби мог бы стать хорошим наставником каким-нибудь новым юным Гёте или Руссо¹⁸. Конечно, когда пишешь роман, необходимо держать в уме и доказательства, но всегда нужно быть достаточно молодым, чтобы чувствовать, а не постоянно анализировать и докладывать об этом. Иначе роман превращается в обучение тому, как следует доказывать, а не становится живым примером, взятым у природы для доказательства. Поэтому рецензия г. фон Гумбольдта кажется мне наполненной столь глубоким содержанием, разложенным на составные части, что свидетельствует: здесь присутствует гений, ибо его обязанность — исследовать. А в самом романе Якоби гений отсутствует. Напишите же мне подробно свое мнение и поговорите-ка об этом с умными людьми, так как я верю, что из этого разговора получится что-то разумное. «Литературная газета» еще у меня на руках, и я хочу с самим Гумбольдтом пройти по второй части «Вольдемара». Мне не кажется, что Якоби, как это постоянно говорит Гумбольдт, раздает указания: по мне, он всегда выражается точно и внятно. Гумбольдт верно замечает: «Нечто хрупкое и тонкое, такое, как молчаливый союз двух сердец, страшится любого, даже самого осторожно-го прикосновения». Однако же сердце, которое к тому же и хорошо умеет думать, нельзя сбить с толку и ввести в заблуждение. «Оно исходит лишь

¹⁸ Второй роман Якоби «Собрание писем Эдуарда Альвиля» (1792) был написан явно под влиянием «Новой Элоизы» Руссо и гётевского «Вертера».

из собственных побуждений, оно может развиваться лишь в неоскверненном одиночестве, и приближающаяся к нему рука, еще не коснувшись, может разрушить его»¹⁹. Мне кажется, что рука пошляка никогда его и не коснется, ему и в голову не придет — коснуться этого сердца, ибо он совершенно не предполагает его существования. Разве два разумных человека вступят в брак, если они знают, что это не для них, и разве они не станут жить, как прежде, незаметно для других. И если Генриетта видит, что Вольдемар должен быть с Альвиной, разве она не отдаст ей его без шума и *sans fagon*²⁰.

Кто же станет отрицать отдельные прекрасные стороны романа, но восхищаться ими мне мешает то, что они слишком знакомы мне и слишком часто встречаются в моем окружении. «И определенное согласие с земными вещами слаще, чем думают мудрецы», — цитирует фон Гумбольдт. Да это тысячу раз было у Руссо в «Элоизе», у Гёте в «Вертере» и «Тассо», при этом они доказывали, а не проповедовали. У француза дама трогает руками салат и еще много чего делает в этом духе, а Гёте заставляет дам вышивать и выбирать одежду для Тассо, и они только еще больше любят его за это, а Вертера он заставляет наблюдать, как разрезается хлеб, и делать для детей великое множество всяких вещей и т. д. Если бы г. фон Гумбольдт занялся одним из этих произведений²¹, то тогда можно было бы одновременно восхищаться двумя гениями и испытывать величайшее человеческое удовольствие: видеть, как один гений восхищается другим. «Неблагоприятные городские слухи» ни на секунду не должны и не могут побудить Генриетту (такую, какую нам изобразил Якоби) свергнуть в тревогу Вольдемара, которого она знает и которому давно принесла себя в жертву («тихо посвятила себя ему», как говорится у Гёте в «Эрвине и Эльмире», этого Вы можете и не знать). Обет, данный отцу на его смертном одре, не имеет в себе ничего сверхъестественного, но выглядит здесь, как замечает сам г. Гумбольдт, аффектированным. Если она его дала, то почему же она не следует за Вольдемаром, чтобы сказать ему, что принимает все, как есть на самом деле, и объяснить, что хочет сделать приятное отцу, человеку умирающему, не способному ничего изменить и испуганному! И почему Вольдемар не может выслушать это спокойно? Они оба еще несовершеннолетние. Если бы г. фон Гумбольдт рассказывал о совершенных людях, которых внешние обстоятельства поставили в такое затруднительное положение, когда не думаешь каждое мгновение при чтении: если бы я могла им открыть глаза на происходящее, — а больше сочувствуешь тому, как иногда страшно жить и что от отчаяния ничто не может спасти, кроме печали; что люди лучше, чем они кажутся — если бы он об этом

¹⁹ Эта цитата у Рахели, как и предыдущая, — из рецензии Гумбольдта.

²⁰ *Sans fagon* (фр.) — сразу же, без хлопот (*примеч. пер.*).

²¹ Рахель имеет в виду названные выше произведения Руссо и Гёте.

рассказывал, то это было бы божественным! Почему он не взял Тассо: там они и нравственны, и не могут себе помочь. Положение, когда Вольдемар и Генриетта слишком связаны друг с другом, чтобы вступить в брак или любить (скорее первое), не кажется мне чем-то особенным и новым. Как и все остальные высказывания г. фон Гумбольдта, очень интересные — о чувственности, морали и вообще всяких других вещах, — все очень понятно, точно и ясно. Я поняла и введение к рецензии — сразу же и очень быстро. Не удивляйтесь, поверьте. Завтра я отвечу на Ваше маленькое письмецо, сегодня я очень устала. Я и *сейчас* читаю, во второй части все они вдруг стали просто замечательными. Я было забыла книгу, только мое впечатление сохранилось. Гумбольдт его прямо-таки освежил. Именно его рецензия — я остаюсь при своем мнении — она божественна!

16 ноября 1794 года

Я все еще не могу оторваться от рецензии! Рецензия о «Вольдемаре» просто великолепна! Вы не можете себе представить, как она мне нравится. В ней собрано все, чему нужно дать оценку, а затем показано, как надо давать оценку. Ну все, хватит, я больше не буду говорить о ней, но я так долго хотела, чтобы кто-то задел людей за живое, и тут является Гумбольдт и делает это, тот самый Гумбольдт, которого все знают. Нет, такое удовлетворение желания — слишком хорошо. Вы должны знать, что когда я читала рецензию о Маттиссоне, я была в какой-то нерешительности: до этого мне о ней так много говорили и, что особенно, представляли ее невероятно сложной, отсюда и моя досада, что она такая, какая есть. Я знаю сама, что г. фон Гумбольдту она очень понравилась, особенно идея, «что человек должен возвращаться туда, откуда послала его природа, но не останавливаться на месте»²². Все это вместо того, чтобы расположить меня к себе, вызвало еще большую досаду. Вы знаете какого-либо порядочного человека в Йене? Поговорите-ка с кем-нибудь о рецензии так, как будто Вы придерживаетесь моего мнения (это же не будет стоить Вам головы) и послушайте, все ли считают Вас за безумца, и должна ли я считаться такой! Ибо страшно думать, что ты *возможно* безумен. Если я буду знать это точно, я переделаю себя.

Мне еще нужно написать Вам кое-что о г. фон Гумбольдте; что — я и сама не знаю, это ясно видно из моего прошлого письма Вам. А когда я просила Вас не слишком полагаться на него, то имела в виду не слишком полагаться на себя и на те отношения, которые могут быть между вами обоими, и чтобы Вы были всегда милым, сдержанным, воспитанным (в системном смысле, мой милый ученик), и не позволяйте себе то (главным

²² Слова из шиллеровской рецензии на Маттиссона.

образом в оценках), что позволяет себе он. *На этот раз* Вы слышите голос моей слишком «заботливой дружбы».

Я сочувствую Вам, это значит, я принимаю участие в Вас. Сожалею, что Вы должны жить уединенно, без общества. <...> Мне ничего не остается другого, как *овладеть порядочными знаниями*. Еще сегодня и вчера я была вне себя от гнева (и это еще не кончилось сегодня) из-за того, что я ничего не знаю и ничему не могу научиться, так как чувствую, какой должна быть судьба, уготовленная мне. Как раз теперь нужно достаточно много знать, иначе не будешь знать ничего.

Ваше постоянство в нашей переписке совершенно законно и основывается в высшей степени на чувстве достоинства, и если внешние обстоятельства могут что-то сделать, то пусть они (о, я, видимо, употребляю здесь ужасное выражение, но не могу найти другого) предоставят Вам, так сказать, большее пространство, в котором Вы сможете радоваться этой переписке. Так как Вы лишены всякой отрады (я не могу не употребить здесь этого слова), должны же они доставлять Вам эту единственную, которую Вы страстно любите и которую можете сами своими усилиями еще и умножить...

17 ноября

Мне нравится (тут я продолжаю то, что написано в Вашем письме, что в нем сделали и Вы, хотя я не увидела там никакого следования мне) та разнородная смесь искренности и сдержанности, которая есть в нашем общении, и потому мне неинтересно, когда оно придет в равновесие, хотя я считаю это вполне возможным. Но если бы я и представила себе такое, то это мне не слишком бы понравилось, при том, что я не стала бы сама делать ничего ни для, ни против этого. Вообще, эта смесь не представляет для меня такую уж проблему.

Давайте снова займемся «Вольдемаром». Да, я, конечно, читала рецензию Гумбольдта: она — «произведение искусства», это верное слово. Мне приятно, что вот — наши суждения сошлись: оцените оба, я не хочу упреждать Вашей оценки, тем более что я уже знаю, как буду думать. Мне были вполне доступны и совершенно понятны идеи в «Вольдемаре», хотя они и показались непривычными в сравнении с другими его произведениями. Тем более что он и сам ясно об этом заявляет. *Я хорошо чувствую*, что это звучит *смешно*, но чтобы признать истину, я должна сказать на этот раз, что они могут ускользнуть (по словам Гумбольдта) только от невежд. Между прочим, Вы перевели мое восхищение этой рецензией в мысли: когда я хочу себя точнее понять, я читаю краткие строки об этом в Вашем письме. Ваша излюбленная идея, которая прослеживается там, это, как мне кажется, *что* требует подлинного восхищения.

*Давиду Фейту в Йену
Берлин, 10 декабря 1794 года*

«Кроме моей жизни, Вы не можете взять у меня ничего, к чему бы я относился более равнодушно», — отвечает Гамлет Олденхольму²³, который говорит ему: «Я бы хотел попрощаться с Вами, милостивый государь». Вот так и я хочу ответить Вам на то, что Вы показали Гумбольдту письмо, где я его оцениваю. Ибо менее всего в мире я претендую на хорошую или дурную литературную оценку («чтобы сохранить это жалкое слово», — говорит Олденхольм своей дочери в ответ на ее слова о *расположении* Гамлета). Стало быть, ничто не может быть для меня более лестным, чем то, что соглашаются с моей оценкой, и ничто — более безразличным, чем то, что мне показывают это. Если бы я считала, что то, что мне показывают, очень важно, как это считаете Вы! Но я бы ни никогда в жизни не смогла бы этого; с другой стороны, что в мире могло бы сделать такой расчет верным, если бы Вы действительно так много утратили во мне из того, что так горделиво воображали себе на мой счет? Моя оценка «была так основательна и верна, что о ней должны знать как можно больше достойных людей»²⁴. Это хорошо, но мне не кажется таким уж необходимым столь многое ставить на карту. Но Вы-то, конечно, знали, как я восприму это, и только потому так сделали. Довольно об этом, поскольку я полагаю, что с письмом, содержащим суждение о произведении искусства, можно сделать все, что угодно, и все личное отпадает, если его написала девушка, где все то, что в нем не нравится, можно отбросить самым простым и легким способом — как проявление ее невежества. <...> Вы не знаете меня. Я *тщеславна*, клянусь Богом, верьте мне. И напишите мне точно, а если можно, и подробно, *что* Вы показали Гумбольдту. И *что* Вы подразумеваете под восклицанием? Вы слышите, я хочу это знать! Как часто нужно мне надоедать Вам, чтобы доставить Вам удовольствие? И еще одно! Если он не удивился, то он проявил радость только в Вашем присутствии, потому что, если мое суждение верно и хорошо в той же степени, как оно, без сомнения, оригинально и ново, то он же не знал, что оно принадлежит мне и *не мог* не удивиться. Он со мной одного мнения о «Вольдемаре»? Рецензией своей он задал такого жару миру, которого тот заслуживает! <...>

Я не могу себе представить, что Вы можете быть чем-то определенным: должность или положение, представленное таким образом для меня, похоже на ограничение, вроде женитьбы. И насколько же скорее можно встретить разумного мужчину или такую же женщину, чем подобную

²³ В каноническом издании Шекспира — Полоний; Рахель, по-видимому, читала перевод, сделанный по первому, так называемому испорченному изданию.

²⁴ Из письма Фейта.

должность или положение! «Однако же следует *жить*» — слышен громогласный призыв с вывесок, принадлежащих всем разумным, по которым я только что ударила. «Отсюда дурные браки» — это вновь ударила я по тем же самым вывескам. «Хорошо, — раздается в ответ, — но как это изменить?» Этого я не знаю, я просто признаю, что это плохо.

11 декабря

Ну а какой же человек не имеет в другой половине человечества противников. Меня же может и должно удовлетворить мизерное количество. Более того, даже они лишние, если я, ничтожная девушка, поразмышляю о том, какими *они должны быть*, чтобы соответствовать мне. Я просто не припомню, чтобы я говорила какие-то мерзости (в отношении людей). Даже когда какие-то истории касались лично меня и со мной обходились несправедливо, я всегда воспринимала это с уважением и приличием. Правда, я вспоминаю, что часто *защищалась*, что обычно *делают* неразумные дилетанты, с большим или меньшим успехом в неожиданных областях и разнообразных формах. Однако это нельзя назвать моей виной. Мне не могут простить, что я в свои 14 лет была остроумна, боятся меня, так как считают умной (слово, которое обычно употребляют). Но никто не знает, что у меня и есть разумные мысли в голове, однако до чужих ушей доходило несколько моих острот, которые передавали завуалированное порицание, и вот, теперь любой взгляд моих глубоко посаженных глаз кажется всем подозрительным и неприятным. И что особенно питает эту ненависть энергией и не дает ей уснуть, несмотря на всю мою ничтожность, так это то, что меня не могут обвинить ни в малейшей грубости, не могут внести на мой счет никакой дурной выходки, и при этом видят, что они (эти люди) для меня ничто. Это сердит каждого, и мне этого не прощают. Вы можете быть уверены, я не сумасбродный фантазер, которому такое льстит. Если бы я могла что-то изменить, я сделала бы это: я стараюсь это искупить, но ничего иного сделать нельзя. Мое искупление состоит в скуке и пресыщении. То, что мне часто не доверяют в серьезных и несерьезных делах, то, что меня в лицо и за моей спиной обвиняют, а я не могу защититься; то, что я *очень* часто испытываю конфуз и не могу не испытывать его; то, что каждый глупец думает, будто он выполняет *должное* — так именуют собственную заурядность — качество распределять обычные вещи по сотням отделов, то, что можно сделать сразу, и тысячи отвратительных расплывчатых *etc.*²⁵ То, что меня покрывают дурной славой и доверяют мне свои тайны, так как делают меня своим *confident*²⁶. Вот что я должна выносить. Нет, меня не

²⁵ *Et cetera* (лат.) — и так далее (*примеч. пер.*).

²⁶ *Confident* (фр.) — доверенное лицо (*примеч. пер.*).

оскорбляют, не унижают, не внушают тщетных желаний. Но мне мешают, так как часто затрудняют мне мой путь своей неуместной похвалой, которая вызывает еще большую досаду и раздражение, чем грубое бессмысленное порицание, эпитеты которого больше подошли бы той самой похвале. И это создает самое дурное впечатление моего *renomme*²⁷. Ибо, собственно, малейшее пятнышко на нем бросает тень, заставляющую меня переживать такое замешательство и смущение. В действительности это пятнышко облегчило бы мне тяжелое расставание, если бы я собралась покинуть мои родные места. Потому что я признаю, что мне было бы очень хорошо, если бы я могла приехать куда-то сама по себе, где меня не знают знакомые, известные мне с *рождения*. И я с глубоким вздохом одобряю образ жизни г. фон Гумбольдта²⁸, а сама продолжаю жить дальше, как могу, не обращая внимание на боль и грусть.

Во многих случаях я неожиданно проявляла хладнокровие и терпение и добилась того, что сумела отучить себя от многого, что мне в себе не нравится, но я еще ни на дюйм не поднялась над собой, не сумела овладеть непреодолимой страстью, не могу задавать вопросы, которые могут быть превратно истолкованы, и постоянно давать неверные ответы, *особенно* или *почти* всегда, когда дело касается меня. А эти ответы я должна давать — своим выражением лица, сдержанной или вынужденной улыбкой. Мне никогда не приходит в голову и не доставляет радость дурачить кого-либо (как это всюду делается), хотя меня именно в этом обвиняют, и меня боятся. А если кто-то изображает меня как нечто неодолимое — ну и ладно, тогда я его за такую неслыханную дерзость еще крепче повяжу. Тем более что мне кажется несколько невежливым выпустить его из сил. Совершенно серьезно, я просто из вежливости не могу сделать подобного. И я *еще не совсем невозбудима*, когда речь идет о смешном. А разве это преступление? А что делают другие? Я умолкаю. Ничто в жизни не кажется мне более нужным, чем чувствовать вознаграждение, а мое счастье такое, что и *думать* об этом нельзя. Я имею в виду собственно воздаяние. Ко мне действительно многие относятся жестоко, но я думаю об этом, только когда это пишу, а на самом деле слишком мало нуждаюсь в том, что мне причитается. Я осмелилась так обстоятельно высказываться вопреки Вам, потому что держусь мнения, что каждому интересно услышать от человека правду о самом себе, ну а в Вашем случае сыграл роль Ваш *gout particulier*²⁹. Меня подтолкнуло к этому определенное место

²⁷ *Renomme* (фр.) — добрая слава, авторитет.

²⁸ В данном случае Рахель, возможно, имеет в виду Александра фон Гумбольдта, ученого-путешественника, хотя самое большое его путешествие состоится через несколько лет.

²⁹ *Gout particulier* (фр.) — особый вкус, стиль.

Вашего письма, да и сама я многословна. Никогда не следует делать того, к чему имеешь расположение. Но тогда остается единственное, что противоположно этому. Выброситься из окошка.

12 декабря

Вы спросили меня, как я живу. А вы этого не знаете? Клянусь честью и всем, что для меня свято: «Не стоит одеваться и раздеваться, утро не пробуждает к новым радостям, а вечер не оставляет надежды»³⁰. Целыми неделями я дома. Покоя нет. Не надо давать мне никакого совета. Это мне не понравится. Но все же я хочу, чтобы время остановилось, так как будет лишь хуже, если только Фортуна не сбросит вниз жребии с выигрышем. Не надо ставить вопроса, привыкла ли я ожидать их от нее. Если бы мы встретились, я смогла бы рассказать Вам все подробно. Я не хочу ждать новой зимы, я не хочу нового, я больше ничего не хочу. В прошлом году я хотела только путешествовать, так как была больна, но теперь я уже восемь недель как здорова и не испытываю нужды в путешествиях, я не хочу путешествовать. Я ничего не хочу, я хочу лишь измениться — внешне или внутренне. Я нехороша собой, я не нравлюсь себе, я опостылела самой себе, но до этого я не дойду, я должна остаться такой же, как и мое лицо. Мы оба можем стать старше, и ничего более. Мое замешательство постоянно растет. Я ни с кем ни о чем не могу договориться и сама увеличиваю эту путаницу, так как ни с кем не нахожу взаимопонимания. Я оставляю все как есть и высказываюсь, увлеченно и страстно, о своем. Они — так же, затем все доходит до высшей степени накала. Молчу я тоже невпопад. При этом я вижу со многими людьми и все узнаю, так как там, куда я прихожу, собираются все³¹. У меня совершенно нет никаких *развлечений* или какого-либо удовлетворения! Ничего интересного я не слышу и не встречаю. И при этом я должна радоваться, что со мной все еще не так плохо, а могло бы быть гораздо хуже. Я боюсь *всяких* перемен. Я по-прежнему худа, совсем не такая, каким должен быть глупец, как считает Бомарше, «толстым от скуки»...

Давиду Фейту, в Йену
Берлин, 1 июня 1795 года

Сразу же Вам и отвечаю, так как это всегда лучше, чем сначала подождать, а еще потому, что я не смогу написать Вам в следующем месяце из-за поездки в Фрайенвальд. Третьего дня я приняла здесь последнюю

³⁰ Скорее всего, пересказ стихов Клопштока.

³¹ По всей вероятности, Рахель имеет в виду салон Генриетты Херц, который она посещала.

ванну, так как не выдерживаю их из-за своей слабости. Вы можете это заметить по моему изменившемуся почерку. <...>

<...> О «Мейстере»³² я остерегаюсь что-то сказать, так как не знаю его. Если бы мы его читали вместе, Вам бы он показался иным, чем Вы находите сейчас. Я еще ни слова об этом не сказала, я просто не могу говорить, так как люди понимают о нем только то, что говорят им. Я тоже нахожу (у себя) сходство с Аврелией, а подумав, не нахожу его. Но сходства с Йетхен еще меньше. Вся эта дикая история с кинжалом не соответствует ее характеру, ибо у нее над умом преобладает фантазия, меня же ничто не удерживает от такого, кроме моего склада ума. Если бы я когда-либо была *совершенно* счастлива, как Аврелия, и забылась бы в любви и родила бы ребенка, то я бы никогда уже не могла снова стать несчастной. Мгновение путешествия не может вечно длиться, и я бы не могла *полностью* ошибиться в человеке, которому отдалась. С такой же уверенностью я прокатила бы Язона в его облачном экипаже. Если же я считала бы, что он расплавится, то, будьте уверены, его, как любого другого, постиг бы удар кинжалом. Держу пари, что эта точка зрения нова для Вас. И я готова положить голову на гильотину, если ее выскажет Вам еще какая-либо женщина, а уж мужчина — точно нет. Но мои мысли о женском счастье таковы вообще, поэтому я и высказываю их. Иначе нельзя понять мое несходство с Аврелией. Остается еще много промежуточного времени, когда будут возможны мгновения счастья, и ими нужно пользоваться как умеешь. <...> Ну а если и упал, и если, добавлю я, это мадемуазель, то следует встать *прилично* и *от души* подлечиться, если еще жива. Я с Вами говорю обо всем, *er gros*³³, так как Вы в отличие от других, понимаете нечто как единичный случай, в то время как другие понимают нечто как целое.

В Аврелии я часто нахожу свои собственные слова, более того — списанные из Лессинга. Вычеркните *это*, а то меня кто-либо сочтет слишком тщеславной (безрассудной) особой. Мне не ведомы мысли Йетхен о Мейстере. Да, я бы порядком вписалась в книгу (как Вы говорите: «А разве это потеря для книги»). Если он даже все выдумал, и Аврелию тоже, ее высказывания он когда-то *слышал*, это я знаю, в это я верю. Эти слова говорит и принцесса в «Тассо», только с другой интонацией. Как *это* величественно! Но он это слышал. Я не стану говорить о женщинах. Либо так думают женщины, либо это слышат от женщин. Это невозможно придумать. Все остальное, что только может человек, он способен сделать, я воздаю ему должное. *Это* знаю я, как я. В основном мне первая часть «Мейстера» нравится больше, в принципе, нельзя

³² Первая часть «Годов учения Вильгельма Мейстера» появилась в 1795 году.

³³ *Er gros* (фр.) — в общих чертах, в целом (*примеч. пер.*).

судить о произведении, которое появляется постепенно отдельными выпусками и не вышло целиком. <...>

<...> Вот дивное стихотворение Гёте, посвященное горнорабочим в Тарновице. Да, да, я имею в виду слова «порядочность» и «разумность» — от них во многом надо отправляться. Порядок — это истина, и только глупцу она неприятна. А как чудесно говорит он: «помогают». Да, они только помогают. Мир находишь уже готовым, таким, как он есть. Нужно искать пути. Еще одно! Как божественно у него соответствует все в каждом слове целому, и как оно уместно в конкретном случае для горнорабочих, и даже для них и назидательно, и понятно. И напротив, ты прекрасно видишь, пробегая взглядами повторно все стихотворение, что оно соответствует именно этому конкретному случаю. Это настоящее стихотворение, эти строки, каждое слово поэтично. Оно цельное и являет общую истину. Она начинается с вопроса, с наброска такого фантастического образа, а заканчивается так убедительно и лаконично. Ведь истину следует так же добывать, и она так же глубоко залегает, как и сам рудник. Короче говоря, мне стихотворение кажется глубоко поэтичным, с таким загадочным языком, каким должны говорить поэты. *В этих строках* у него природа *вновь* недвижима, а мир полон движения, и выбор, который остается, волнует тебя. Ничего более нет. Подлинный поэт должен браться за самые крайности — так он обозначил самого Тассо. Им я занималась длительное время, как он сам Гамлетом. И трогать эти крайности в каждом отдельном незначительном случае совершенно естественным образом может великий поэт. Я снова проникла в Гёте, а значит, мне следует простить многое. И я Вам когда-нибудь *скажу* как. Высказать это в одном письме было бы для меня слишком прекрасно. Вы ведь знаете тот тип лиц, которые *слишком* прекрасны?

*Давиду Фейту в Йену
Теплиц, 28 августа 1795 года*

Мне кажется, что я написала Вам самое запутанное письмо, какое только можно написать. Послать теперь другое вслед за ним — вреда не будет. Вы знаете, как это случилось, очень мало было *времени*. Когда я писала, я понимала, что хотела сказать что-то другое, и машинально двигала пером по бумаге от усталости и слабости, чтобы Вы что-то получили от меня. Даже спустя некоторое время я помню, что написала Вам. Нет, я не кажусь себе счастливой, напротив, мне кажется, я *слишком* радуюсь отсутствию несчастья. Даже и слепой должен был бы увидеть, что я не *могу* быть *вполне счастливой*. Я имею в виду счастье страдания. Когда страдаешь, ничего не делаешь против этого. *Это* и есть счастье, но даже и к такому счастью я неспособна. Вы говорили еще и о счастье покоя.

Именно по этой причине я не могу слепо, не раздумывая, увлечься каким-то человеком... Потому я и не преклоняюсь ни перед кем. Вы ведь знаете, что я все *вижу* — я Вам *сказала* это, когда мы были в театре, — иначе я была бы влюблена в Гёте, ведь только перед ним я преклоняюсь. Это «только» здесь не пустое слово.

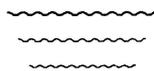
В своем прошлом письме я говорила, что слишком хорошо понимаю, что может происходить в человеке при определенных обстоятельствах, и я далека от жеманства. Однако я это сказала так, что Вы меня неверно поняли. Я имела в виду вот что: я никогда не истолковываю и не воспринимаю что-либо дурно, потому что это делают другие, или потому что так принято делать в определенных случаях, или потому что здесь это кого-то волнует и пугает. Нет, я привыкла исследовать все, что происходит во мне, как если бы это происходило с другими. <...> Как же я могу расправить крылья и сама поднимать шум и бурю своими скачками и убегать оттуда, где речь ведется исключительно в кругу разумных людей и о глубоко разумных вещах. Они иные, чем я. Что же тут такого? Разве недостаточно, что мы во многих вещах думаем одинаково, можем всегда быстро поправить друг друга, неужели же каждому из нас надо заниматься тем, что происходит в душе другого. Как говорится, так не бывает. Иначе надо было бы предположить, что всюду господствует порядок, а затем появиться ощущение, что и мир существует для этого. А я слишком хорошо и точно вижу причину невозможности этого, оно меня больше не волнует: напротив, я всегда знала о нашем различии, и наше теперешнее согласие и сходство не могло вселить в меня надежду, так как мне всегда казалось, что в нас все происходит совсем по-другому, по-разному, если не сказать большего — противоположно. В результате этого часто наступает конец. Потому наша дружба кажется мне тем подлинным триумфом, каким я могу наслаждаться, — продуктом двух единых разумных существ, которые, — сколько бы они не отступали и не менялись, — вне сомнения, встретятся в истине, к которой они постоянно возвращаются и которую всегда всерьез ищут. Если Вы станете изучать самые примечательные случаи любви, — если их так можно назвать, — то *что* они есть? Мгновенное согласие, большею частью основанное на заблуждении, засим продолженное, скрепленное печатью и исчезнувшее. И все это считается восхитительным, его с рвением удерживают, хотя все понимают, как мало причин есть для того, чтобы сделать подобное положение надежным. Дело не в том, что я в мыслях пытаюсь с помощью разумных доводов устранить любовь с поля истины! Упаси боже, я один из первейших рабов и приверженцев Божественного Дитяти, нет, просто в определенного рода дружбе (у меня нет другого слова) ее нет, а вместе с ней (с дружбой) она *является*, конечно, величайшей идеей для людей и отношений. Напротив, мне она встречалась до сих пор только как таковая.

Я кажусь себе человеком в некоторой степени безумным, которого надо разубедить в его безумии: ему говорят со всех сторон, ему доказывают, он понимает, соглашается и, в конце концов, исходя уже из этого доказывает свое собственное прежнее утверждение. Такова и я. Вот, я хотела бы Вас спросить, имею ли я право любить, где могу, или же снова и снова устремляться к своим друзьям. Коротко говоря! Что любишь? Прекрасное и доброе! Где любишь? Там, где это находишь. То есть в стороне, в стороне: таким нам является и весь мир. Это не мое заблуждение — такова взаимосвязь этого мира, и нам она не кажется верной. То, что эта истина кажется мне единственной, которую я могу обнаружить, и составляет для меня отсутствие возможности. Тут и конец моему безумию. Ну, а теперь оспорьте все с самого начала!

Милый Фейт, скажите-ка мне, встречался ли Вам когда-либо необразованный человек моего склада? Мне — нет. Есть иные, которые чего-то не знают, но тем так же неизвестно и это неведение, и все события, его касающиеся. Со мной по-другому, я знаю неведение, все события, себя, средства (измениться), и остаюсь тем, чем была. Когда я пишу Вам это сумбурное письмо, мне приходит в голову, к какой мысли могли бы Вы придаться и о чем я Вас хотела бы попросить. Как же можно знать так точно, так пунктуально, так *основательно*, я бы даже сказала, так эстетически, что означает хорошо писать, а самой не меняться. Даже мой вкус, мои суждения улучшаются, а говорю я хуже, чем женщина самого низшего сословия... <...> Каждый может лучше писать и говорить, имея идеи намного глупее моих. Я это чувствую постоянно, и это в конечном итоге сердит меня. По крайней мере я хотела бы понять причину, так как у меня достаточно благоразумия и проницательности. Я одобрительно отношусь к каждому малейшему словечку, к каждому «и», «пожалуй», «так как». Я хорошо умею находить различие у поэтов и писателей, умею характеризовать и классифицировать их гораздо лучше, чем другие. Но я не могу сгладить свои шероховатости, я не улучшаю себя, свой стиль... <...> Я говорю, как человек простого сословия. Если бы у меня не было оригинальных мыслей, то и самые невежественные люди сочли бы меня за таковую.

Rahel. Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde. Berlin: Mathes & Seitz, s. a.

Пер. с нем. Р. Гуревич



VI

Интерпретации



